

ГЛАВА I.

Это было недавно, в царствование Александра II, в наше время — время цивилизации, прогресса, вопросов, возрождения России и т. д. и т. д.; в то время, когда победоносное русское войско возвращалось из сданного неприятелю Севастополя, когда вся Россия торжествовала уничтожение черноморского флота и белокаменная Москва встречала и поздравляла с этим счастливым событием остатки экипажей этого флота, подносила им добрую русскую чарку водки и, по доброму русскому обычаю, хлеб-соль и кланялась в ноги. Это было в то время, когда Россия в лице дальновидных девственников-политиков оплакивала разрушение мечтаний о молебне в Софийском соборе и чувствительнейшую для отечества потерю двух великих людей, погибших во время войны (одного, увлекшегося желанием как можно скорее отслужить молебен в упомянутом соборе и павшего в полях Валахии, но зато и оставившего в тех же полях два эскадрона гусар, и другого, неоцененного человека, раздававшего чай, чужие деньги и простыни раненым и не кравшего ни того, ни другого); [в] то время, когда со всех сторон, во всех отраслях человеческой деятельности, в России, как грибы выростали великие люди — полководцы, администраторы, экономисты, писатели, ораторы и просто великие люди без особого призвания и цели. В то время, когда на юбилее московского актера упроченное тостом явилось общественное мнение, начавшее карать всех преступников; когда грозные комиссии из Петербурга поскакали на юг ловить, обличать и казнить комиссариатских злодеев; когда во всех городах задавали с речами обеды севастопольским героям и им же, с оторван-

* Лев Николаевич Толстой. Полное собрание сочинений. Том 17. Произведения 1863, 1870, 1872—1879, 1884. Государственное издательство «Художественная литература». — Москва, 1936. (Электронное издание 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого доступно на портале www.tolstoy.ru). ...Все мы со школьных уроков литературы помним, что Лев Толстой собирался продолжить «Войну и мир» романом под <рабочим> названием «Декабристы» и даже написал вчерне первые три главы, но мало кто знаком с ними. Восполняем этот пробел настоящей публикацией. Варианты этих глав, написанные в процессе работы Толстым, см. в Т. 17 Юбилейного ПСС в 90 тт. (Т. 91 — Указатель). — Прим. гл. ред.

ными руками и ногами, подавали трюнки, встречая их на мостах и дорогах; в то время, когда ораторские таланты так быстро развились в народе, что один целовальник везде и при всяком случае писал и печатал и наизусть сказывал на обедах речи, столь сильные, что блюстители порядка должны были вообще принять укротительные меры против красноречия целовальника; когда в самом аглицком клубе отвели особую комнату для обсуждения общественных дел; когда появились журналы под самыми разнообразными знаменами, — журналы, развивающие европейские начала на европейской почве, но с русским мирозерцанием, и журналы, исключительно на русской почве, развивающие русские начала, однако с европейским мирозерцанием; когда появилось вдруг столько журналов, что, казалось, все названия были исчерпаны: и «Вестник», и «Слово», и «Беседа», и «Наблюдатель», и «Звезда», и «Орел», и много других, и, несмотря на то, все являлись еще новые и новые названия; в то время, когда появились плеяды писателей, мыслителей, доказывавших, что наука бывает народна и не бывает народна и бывает ненародная и т. д., и плеяды писателей, художников, описывающих рошу и восход солнца, и грозу, и любовь русской девицы, и лень одного чиновника, и дурное поведение многих чиновников; в то время, когда со всех сторон появились вопросы (как называли в 56 году все те стечения обстоятельств, в которых никто не мог добиться толку), явились вопросы кадетских корпусов, университетов, цензуры, изуственного судопроизводства, финансовый, банковый, полицейский, эманципационный и много других; все старались отыскивать еще новые вопросы, все пытались разрешать их; писали, читали, говорили проекты, все хотели исправить, уничтожить, переменить, и все россияне, как один человек, находились в неопisanном восторге. Состояние, два раза повторившееся для России в XIX-м столетии: в первый раз, когда в 12-м году мы отшлепали Наполеона I, и во второй раз, когда в 56-м году нас отшлепал Наполеон III. Великое, незабвенное время возрождения русского народа!!!. Как тот Француз, который говорил, что тот не жил вовсе, кто не жил в Великую французскую революцию, так и я смею сказать, что кто не жил в 56-м году в России, тот не знает, что такое жизнь. Пишущий эти строки не только жил в это время, но был одним из деятелей того времени. Мало того, что он сам несколько недель сидел в одном из блиндажей Севастополя, он написал о Крымской войне сочинение, приобретшее ему великую славу, в котором он ясно и подробно изобразил, как стреляли солдаты с бастионов из ружей, как перевязывали на перевязочном пункте перевязками и хоронили на кладбище в землю. Совершив эти подвиги, пишущий эти строки прибыл в центр государства, в ракетное заведение, где и пожал лавры своих подвигов. Он видел восторг обеих столиц и всего народа и на себе испытал, как Россия умеет вознаграждать истинные заслуги. Сильные мира сего искали его знакомства, жали ему руки, предлагали ему обеды, настоятельно приглашали его к себе и для того, чтоб узнать от него подробности войны, рассказывали ему свои чувствования. Поэтому пишущий эти строки может оценить то великое, незабвенное время. Но не в том дело.

В это самое время два возка и сани стояли у подъезда лучшей московской гостиницы. Молодой человек вбежал в двери узнать о квартире. Старик сидел в возке с двумя дамами и говорил о том, каков был Кузнецкий мост при французе. Это было продолжение разговора, начавшегося при въезде в Москву, и теперь старик с белой бородой, в распахнутой шубе, спокойно продолжал свою беседу в возке так, как будто он намеревался ночевать в нем. Жена и дочь слушали, но поглядывали на дверь не без нетерпения. Молодой человек вышел из двери с швейцаром и нумерным.

— Ну что, Сергей? — спросила мать, выставляя на свет фонаря свое изнуренное лицо.

Потому ли, что это была его привычка, или для того, чтоб швейцар не принял его по полушубку за лакея, Сергей ответил по-французски, что есть комнаты, и отворил

дверцы. Старик взглянул на мгновение на сына и снова обратился в темную глубину возка, как будто остальное до него не касалось:

— Театра еще не было.

— Пьер! — сказала жена, подбирая салоп, но он продолжал.

— Madame Шальме была на Тверской...

В глубине возка раздался молодой, звонкий смех.

— Папа, выходи — ты так заговорился.

Старик как будто теперь только хватился, что они приехали, и оглянулся.

— Выходи же.

Он надвинул шапку и покорно полез из двери. Швейцар принял его под руку, но убедившись, что старик еще очень хорошо ходит, он тотчас же предложил свои услуги даме. Наталья Николаевна, жена, и по собольему салопу, и по тому, как долго вылезала, и по тому, как тяжело легла ему на руку, и по тому, как прямо, не оглядываясь, опершись на руку сына, пошла на крыльцо, показалась ему очень значительною. Барышню от девушек, которые повылезли из другого возка, он даже не отличил: так же, как и они, она несла узелок и трубку и шла сзади. Только по смеху и тому, что она назвала старика отцом, он узнал ее.

— Не туда, папа, направо,— сказала она, останавливая его за рукав тулупа.— Направо.

И на лестнице из-за стука шагов, дверей и тяжелого дыхания пожилой дамы раздался тот же смех, который слышался в возке, который, когда кто слышал, непременно думал: вот славно смеется, завидно даже.

Сын Сергей занимался устройством всех материальных условий в дороге и занимался этим хотя и без знания, но с свойственной 25-ти годам энергией и самоудовлетворяющей деятельностью. Раз двадцать по крайней мере и, кажется, без особенно важных причин он в одном пальто сбежал вниз к саням и вбежал опять наверх, подрагивая от холода и через две и три ступеньки шагая своими молодыми, длинными ногами. Наталья Николаевна просила его не простудиться, но он уверял, что ничего, и все отдавал приказания, хлопал дверьми, ходил, и когда, казалось, уж дело стояло за одними слугами и мужиками, он несколько раз обошел все комнаты, выходя из гостиной в одну дверь и входя в другую, и все отыскивал, что бы еще сделать.

— Что ж, папа, поедешь в баню? Узнать? — спросил он.

Папа находился в задумчивости и, казалось, вовсе не отдавал себе отчета в том, где он находился. Он не скоро ответил. Он слышал слова и не понимал. Вдруг он понял.

— Да, да, да; узнай, пожалуйста, у Каменного моста.

Глава семейства торопливым, взволнованным шагом обошел комнаты и сел на кресла.

— Ну, теперь надо решить, что делать, устраиваться,— сказал он.— Помогайте, дети, живо! молодцами! таскайте, устанавливайте, а завтра пошлем записочку и Серрежу к сестре Марье Ивановне, к Никитиным, или сами поедем. Так, Наташа? А теперь устраиваться.

— Завтра воскресенье; надеюсь, прежде всего, ты поедешь к обедне, Pierre? — сказала жена, на коленях стоя перед сундуком и отпирая его.

— И то воскресенье! Непременно все поедем в Успенский собор. Этим начнется наше возвращение. Боже мой! когда я вспомню тот день, когда я в последний раз был в Успенском соборе... помнишь, Наташа? Но не в том дело.

И глава семейства быстро встал с кресла, на которое только что сел.

— А теперь надо устраиваться.

И он, ничего не делая, ходил из одной комнаты в другую.

— Что ж, будем чай пить? или устала, хочешь отдохнуть?

— Да, да,— отвечала жена, доставая что-то из сундука: — ведь ты хотел в баню.

— Да... в мое время были у Каменного моста. Сережа, поди же узнай, есть ли еще бани у Каменного моста. Вот эту комнату займу я с Сережей; Сережа! хорошо тебе тут будет? — Но Сережа пошел узнать о банях.

— Нет, все нехорошо,— продолжал он,— у тебя не будет хода прямо в гостиную. Как ты думаешь, Наташа?

— Ты успокойся, Pierre, все это устроится,— отвечала Наташа из другой комнаты, в которую мужики вносили вещи. Но Pierre находился под влиянием восторженного состояния, произведенного приездом на место.

— Ты смотри, Сережины вещи не смешай; вот его лыжи бросили в гостиную...

И он сам поднял их и особенно осторожно, как будто от этого зависел весь будущий порядок помещенья, поставил их к притолке и прижал к ней. Но лыжи не приклеились и, только что Pierre отошел от них, с грохотом упали поперек двери. Наталья Николаевна поморщилась и вздрогнула, но, увидав причину паденья, сказала.

— Соня, подними, мой друг.

— Подними, мой друг,— повторил муж, а я пойду к хозяину, иначе не устроите; надо с ним обо всем переговорить.

— Лучше за ним послать, Pierre. Зачем ты беспокоишься?

Pierre согласился.

— Соня, позови этого... как бишь? М-г Cavalier, пожалуйста; скажи, что мы хотим обо всем переговорить.

— Шевалье, папа,— сказала Соня и приготовилась итти.

Наталья Николаевна, которая тихим голосом приказывала и тихими шагами ходила из комнаты в комнату, то с ящиком, то с трубкой, то с подушкой, незаметно расставляла из горы поклажи все на свое место, успела, проходя мимо Сони, шепнуть.

— Не ходи сама, пошли человека.

Покуда человек ходил за хозяином, Pierre употребил свой досуг на то, чтобы под предлогом содействия своей супруге смять ей какую-то одежду, и на то, чтобы спотыкнуться на опорожненный ящик. Удержавшись рукой за стену, Декабрист с улыбкой оглянулся. Жена, казалось, была так занята, что не заметила; но Соня глядела на него такими смеющимися глазами, что, казалось, ожидала позволения посмеяться. Он охотно дал ей это позволение, рассмеявшись сам таким добродушным смехом, что все бывшие в комнате, от жены до девушки и мужика, рассмеялись. Этот смех еще более воодушевил старца; он нашел, что диван в комнате жены и дочери стоит для них неудобно, несмотря на то, что они утверждали противное, прося его успокоиться. В то самое время, как он собственноручно пытался с мужиком перетащить эту мебель, вошел в комнату хозяин-француз.

— Вы меня спрашивали,— сказал хозяин строго и в доказательство своего, ежели не презрения, то равнодушия, достал медленно свой платок, медленно развернул и медленно высморкался.

— Да, мой любезный друг,— сказал Петр Иванович, наступая на него: — вот видите ли, мы сами не знаем, сколько здесь пробудем, я и жена моя...— и Петр Иваныч, имевший слабость в каждом человеке видеть ближнего, начал рассказывать свои обстоятельства и планы.

Г-н Chevalier не разделял такого взгляда на людей и не интересовался сведениями, сообщенными Петром Иванычем, но хороший французский язык, которым говорил Петр Иваныч (французский язык, как известно, есть нечто в роде чина в России), и барские приемы заставили его повысить несколько мнение о новоприезжих.

— Чем могу я служить вам? — спросил он.

Вопрос этот не затруднил Петра Иваныча. Он выразил желанье иметь комнаты, чай, самовар, ужин, обед, пищу для прислуги,— одним словом, те вещи, для которых

и существуют гостиницы, и когда Г-н Chevalier, удивленный невинностью старичка, полагавшего, должно быть, что он находится в Трухменской степи, или полагавшего, что все эти вещи ему будут отпускаться даром, объявил, что все это можно иметь, Петр Иванович пришел в восторженное состояние.

— Вот это прекрасно! очень хорошо! Так мы и устроим. Ну так, пожалуйста...— Но ему стало совестно все говорить о себе, и он стал расспрашивать Г-на Chevalier о его семействе и делах. Сергей Петрович, вернувшись в комнату, казалось, не одобрял обращения своего батюшки; он замечал неудовольствие хозяина и напомнил о бане. Но Петр Иванович был заинтересован вопросом о том, как могла французская гостиница итти в Москве в 56 году и как проводила свое время M-me Chevalier. Наконец сам хозяин поклонился и спросил, не прикажут ли чего?

— Будем пить чай, Наташа. Да? Так чаю, пожалуйста, а мы еще поговорим с вами, мой любезный Monsieur. Какой славный человек!

— А в баню, папа?

— Ах, да, так ненадобно чаю.— Так что единственный результат беседы с ново-приезжим был отнят у хозяина. Зато Петр Иванович был теперь горд и счастлив своим устройством. Ямщики, пришедшие просить на водку, расстроили его было тем, что у Сережи не было мелочи, и Петр Иванович хотел было опять посылать за хозяином, но счастливая мысль, что не ему одному надо быть веселым этот вечер, вывела его из затруднения. Он взял две трехрублевых бумажки и, вжав в руку одному ямщику одну бумажку, сказал; «Вот вам» (Петр Иванович имел привычку говорить вывсем без исключения, кроме членам своего семейства); «а вот вам», сказал он, передавая другому ямщику бумажку из ладони в ладонь, вроде того, как это делают, платя докторам за визиты. Обделав все эти дела, его повезли в баню.

Соня, как сидела на диване, подставила руку под голову и засмеялась.

«Ах, как хорошо, мама! Ах, как хорошо!» — Потом она положила ноги на диван, повытянулась, поправилась и так и заснула крепким неслышным сном здоровой 18-ти-летней девушки после 11/2 месяцев дороги. Наталья Николаевна, все еще разбившаяся в своей спальне, услышала верно своим материнским ухом, что Соня не шевелится, и вышла взглянуть. Она взяла подушку и, подняв своей большой белой рукой раскрасневшуюся спутанную голову девушки, положила ее на подушку. Соня глубоко, глубоко вздохнула, повела плечами и положила свою голову на подушку, не сказав тегсі, как будто это само собой так сделалось.

— Не на ту, не на ту, Гавриловна, Катя,— тотчас же заговорила Наталья Николаевна, обращаясь к девушкам, стелившим постель, и одной рукой, как будто мимоходом, оправляя взбившиеся волосы дочери. Не останавливаясь и не торопясь, Наталья Николаевна убиралась, и к приезду мужа и сына все было готово: сундуков уж не было в комнатах; в спальне Пьера все было так же, как было десятки лет в Иркутске: халат, трубка, табакерка, вода с сахаром, Евангелие, которое он читал на ночь, и даже образок прилип как-то над кроватью на пышных обоях комнат Шевалье, который не употреблял этого украшения, но которое явилось в этот вечер во всех комнатах 3-го отделения.

Наталья Николаевна, убравшись, оправила свои, несмотря на дорогу, чистые воротнички и рукавички, причесалась и села против стола. Ее прекрасные черные глаза устремились куда-то далеко; она смотрела и отдыхала. Она, казалось, отдыхала не от одного раскладыванья, не от одной дороги, не от одних тяжелых годов — она отдыхала, казалось, от целой жизни, и та даль, в которую она смотрела, на которой представлялись ей живые любимые лица, и была тот отдых, которого она желала. Был ли это подвиг любви, который она совершила для своего мужа, та ли любовь, которую она пережила к детям, когда они были малы, была ли это тяжелая потеря или это была особенность ее характера,— только всякий, взглянув на эту женщину, должен был

понять, что от нее ждать нечего, что она уже давно когда-то положила всю себя в жизнь и что ничего от нее не осталось. Осталось достойное уважения что-то прекрасное и грустное, как воспоминание, как лунный свет.

Нельзя было себе представить ее иначе, как окруженную почтением и всеми удобствами жизни. Чтоб она когда-нибудь была голодна и ела бы жадно или чтобы на ней было грязное белье, или чтобы она спотыкнулась, или забыла бы высморкаться — этого не могло с ней случиться. Это было физически невозможно. Отчего это так было, не знаю, но всякое ее движение было величавость, грация, милость для всех тех, которые могли пользоваться ее видом...

Sie pflegen und weben

Himmlische Rosen ins irdische Leben. I

Она знала этот стих и любила его, но не руководилась им. Вся натура ее была выражением этой мысли, вся жизнь ее была одним этим бессознательным вплетанием невидимых роз в жизнь всех людей, с которыми она встречалась. Она поехала за мужем в Сибирь только потому, что она его любила; она не думала о том, что она может сделать для него, и невольно делала все: стелила ему постель, укладывала его вещи, готовила обед и чай, а главное, была всегда там, где он был, и больше счастья ни одна женщина не могла бы дать своему мужу.

В гостиной кипел самовар на круглом столе. Перед ним сидела Наталья Николаевна. Соня морщилась и улыбалась под рукой матери, щекотавшей ее, когда отец и сын с сморщенными оконечностями пальцев и лоснящимися щеками и лбами (у отца особенно блестела лысина), с распушившимися белыми и черными волосами и сияющими лицами вошли в комнату.

— Светлее стало, как вы вошли, — сказала Наталья Николаевна. — Батюшки, как бел!

Она говорила это десятки лет каждую субботу, и каждую субботу Пьер испытывал при этом застенчивость и удовольствие. Они сели за стол, запахло чаем, трубкой, заговорили голоса родителей, детей и слуг, которые в той же комнате получили свои чашки. Вспоминали смешное, случившееся дорогой, восхищались прической Сони, смеялись. Географически все они были перенесены за 5000 верст в совсем другую, чуждую среду, но нравственно они этот вечер еще были дома, теми же самыми, какими сделала их особенная, долгая, уединенная, семейная жизнь. Того уж не будет завтра. Петр Иванович подсел к самовару и закурил свою трубку. Он не весел был.

— Ну, вот мы и приехали, — сказал он, — и я рад, что мы нынче никого не увидим: этот вечер еще последний проведем в семействе... и он запил эти слова большим глотком чаю.

— Отчего же последний, Пьер?

— Отчего? Оттого, что орлята выучились летать, им самим нужно вить свои гнезда, и отсюда они полетят каждый в свою сторону...

— Вот пустяки, — сказала Соня, принимая у него стакан и улыбаясь, как она всемо улыбалась: — старое гнездо отлично.

— Старое гнездо — печальное гнездо, старик не умел свить его, — он попал в клетку, в клетке вывел детей, и выпустили его тогда, как уж крылья его плохо носить стали. Нет, орлятам надо свить себе гнездо выше, счастливее, ближе к солнцу; затем они его дети, чтоб пример послужил им; а старый, пока не ослепнет, будет глядеть, а ослепнет, будет слушать... Налей рому, еще, еще... довольно.

— Посмотрим, кто кого оставит, — отвечала Соня, бегло взглянув на мать, как будто ей совестно было говорить при ней, — посмотрим, кто кого оставит, — продолжала она. — За себя я не боюсь и за Сережу тоже! (Сережа ходил по комнате и размышлял о том, как ему завтра заказать платье — самому пойти или послать за портным; его не интересовал разговор Сони с отцом)... Соня засмеялась.

— Что ты? Что? — спросил отец.

— Ты моложе нас, папа. Гораздо, право,— сказала она и опять засмеялась.

— Каково! — сказал старик, и строгие морщины его сложились в нежную и вместе презрительную улыбку.

Наталья Николаевна наклонилась из-за самовара, который мешал ей видеть мужа.

— Правда Сонина. Тебе все еще 16 лет, Пьер. Сережа моложе чувствами, но душой ты моложе его. Что он сделает, я могу предвидеть, но ты еще можешь удивить меня.

Сознавался ли он в справедливости этого замечания или, польщенный им, он не знал, что отвечать, старик молча курил, запивал чаем и только блестел глазами. Сережа же, с свойственным эгоизмом молодости, теперь только заинтересованный тем, что сказали об нем, вступил в разговор и подтвердил то, что он действительно стар, что приезд в Москву и новая жизнь, которая открывается перед ним, нисколько не радует его, что он спокойно обдумывает и предусматривает будущее.

— Все-таки последний вечер,— повторил Петр Иванович.— Завтра уж того не будет...

И он еще подлил себе рому. И долго он еще сидел за чайным столом с таким видом, как будто многое ему хотелось сказать, да некому было слушать. Он подвинул было к себе ром, но дочь потихоньку унесла бутылку.

ГЛАВА II.

Когда г. Шевалье, ходивший наверх устраивать гостей, вернувшись к себе, сообщил замечания насчет новоприезжих своей подруге жизни, в кружевах и шелковом платье сидевшей по парижскому манеру за конторкой, в той же комнате сидело несколько привычных посетителей заведения. Сережа, бывши внизу, заметил эту комнату и ее посетителей. Вы верно тоже заметили ее, ежели бывали в Москве.

Ежели вы скромный мужчина, не знающий Москвы, опоздали на званый обед, ошиблись расчетом, что гостеприимные москвичи вас позовут обедать — и вас не позвали, или просто хотите пообедать в лучшей гостинице, вы входите в лакейскую. Три или четыре лакея вскакивают, один из них снимает с вас шубу и поздравляет с новым годом, с масленицей, с приездом или просто замечает, что давно вы не бывали, хоть вы и никогда не бывали в этом заведении. Вы входите, и первый бросается вам в глаза накрытый стол, уставленный, как вам в первую минуту кажется, бесчисленным количеством аппетитных яств. Но это только оптический обман, ибо на этом столе большую часть места занимают в перьях фазаны, морские раки невареные, коробочки с духами, помадой и стклянки с косметиками и конфетами. Только с краюшка, поискав хорошенько, вы найдете водку и кусок хлеба с маслом и рыбкой под проволочным колпаком от мух, совершенно бесполезным в Москве в декабре месяце, но зато точно таким же, какие употребляются в Париже. Далее, за столом вы видите впереди себя комнату, в которой за конторкой сидит француженка весьма противной наружности, но в чистейших рукавчиках и в прелестнейшем модном платье. Подле француженки вам представится расстегнутый офицер, закусывающий водку, статский, читающий газету, и чьи-нибудь военные или статские ноги, лежащие на бархатном стуле, и слышатся французский говор и более или менее искренний громкий хохот. Ежели вам захочется знать, что делается в этой комнате, то я бы советовал не входить в нее, а только заглянуть, как будто проходя мимо, чтобы взять тартинку. Иначе вам не поздоровится от вопросительного молчания и взглядов, которые устрелят на вас привычные обитатели комнаты, и, вероятно, вы, поджавши хвост, поспешите к одному из столов в большую залу или зимний сад. В этом вам никто не помешает. Эти столы для всех, и там в одиночестве можете называть Дея гарсоном и

заказывать трюфелей, сколько вам угодно. Комната же с французенкой существует для избранной, золотой, московской молодежи, и попасть в число избранных не так легко, как вам кажется.

Г. Шевалье, возвратившись в эту комнату, сказал супруге, что господин из Сибири скучен, но зато сын и дочь такие молодцы, каких только в Сибири можно выкормить.

— Вы бы посмотрели на дочь, что это за розанчик!

— О!, он любит свеженьких женщин, этот старик,— сказал один из гостей, куривший сигару. (Разговор, разумеется, происходил на французском языке, но я передаю его по-русски, что и постоянно буду делать в продолжение этой истории.)

— О! очень люблю! — отвечал г. Шевалье.— Женщины — моя страсть. Вы не верите?

— Слышите, M-me Chevalier? — закричал толстый казачий офицер, который был много должен в заведеньи и любил беседовать с хозяином.

— Да, вот он разделяет мой вкус, — сказал Chevalier, потрепав толстяка по эполете.

— И точно хороша эта Сибирячка?

Chevalier сложил свои пальцы и поцеловал их.

Вслед за тем между посетителями разговор сделался конфиденциальный и очень веселый. Дело шло о толстяке; он, улыбаясь, слушал то, что про него рассказывали.

— Можно ли иметь такие превратные вкусы? — закричал один сквозь смех.— M-lle Clarisse! вы знаете, Стругов из женщин лучше всего любит куриные ляжки.

Хотя и не понимая соли этого замечания, m-lle Clarisse залилась из-за конторки смехом, настолько серебристым, насколько позволяли ей дурные зубы и преклонные лета.

— Сибирская барышня навела его на такие мысли? — и все еще больше расхохотались. Сам M-r Chevalier помирал со смеху, приговаривая:

«Ce vieux coquin»,² и трепя по голове и плечам казачьего офицера.

— Да кто они, эти Сибиряки? заводчики или купцы? — спросил один из господ во время затихания смеха.

— Никит! спрашивайт у господ, которые приехал, подорожный,— сказал M-r Chevalier.— «Мы, Александр, Самодержес...» — начал было читать Г-н Chevalier принесенную подорожную, но казачий офицер вырвал у него бумагу, и лицо его вдруг выразило удивление.

— Ну, угадайте, кто это? — сказал он,— и все вы хоть по слухам знаете.

— Ну, как же угадать, покажи. Ну, Абдель Кадер, ха-ха-ха. Ну, Калиостро... Ну, Петр III... ха-ха-ха-ха.

— Ну, прочти же!

Казачий офицер, развернув бумагу, прочел: «бывший князь Петр Иванович» и одну из тех русских фамилий, которую всякий знает и всякий произносит с некоторым уважением и удовольствием, ежели говорит о лице, носящем эту фамилию, как о лице близком или знакомом. Мы будем называть его Лабазовым. Казачий офицер смутно помнил, что этот Петр Лабазов был чем-то знаменитым в 25-м году и что он был сослан в каторжную работу,— но чем он был знаменит, он не знал хорошенько. Другие же никто и этого не знали и ответили: «А! да, известный» точно так же, как бы они сказали: «как же, известный!» про Шекспира, который написал «Энеиду». Больше же они узнали его потому, что толстяк объяснил им, что он брат князя Ивана, дядя Чикиных, графини Прук, ну, известный...

— Ну, как же угадать, покажи. Ну, Абдель Кадер, ха-ха-ха. Ну, Калиостро... Ну, Петр III... ха-ха-ха-ха.

— Ну, прочти же!

Казацкий офицер, развернув бумагу, прочел: «бывший князь Петр Иванович» и одну из тех русских фамилий, которую всякий знает и всякий произносит с некоторым уважением и удовольствием, ежели говорит о лице, носящем эту фамилию, как о лице близком или знакомом. Мы будем называть его Лабазовым. Казацкий офицер смутно помнил, что этот Петр Лабазов был чем-то знаменитым в 25-м году и что он был сослан в каторжную работу,— но чем он был знаменит, он не знал хорошенько. Другие же никто и этого не знали и ответили: «А! да, известный» точно так же, как бы они сказали: «как же, известный!» про Шекспира, который написал «Энеиду». Больше же они узнали его потому, что толстяк объяснил им, что он брат князя Ивана, дядя Чикиных, графини Прук, ну, известный...

— Ведь он должен быть очень богат, коли он брат князя Ивана? — заметил один из молодых.— Ежели ему возвратили состояние. Некоторым возвратили.

— Сколько их наехало теперь этих сосланных! — заметил другой,— право, их меньше, кажется, было сослано, чем вернулось. Да, Жикинский, расскажи-ка эту историю за 18-е число,— обратился он к офицеру стрелкового полка, слышшему за мастера рассказывать.

— Ну, расскажи же.

— Во-первых, это истинная правда и случилось здесь, у Шевалье, в большой зале. Приходят человека три Декабристов обедать. Сидят у одного стола, едят, пьют, разговаривают. Только напротив их уселся господин почтенной наружности, таких же лет и все прислушивается, как они про Сибирь что-нибудь скажут. Только он что-то спросил; слово за слово, разговорились, оказывается, что он тоже из Сибири.

— И Нерчинск знаете?

— Как же, я жил там.

— И Татьяну Ивановну знаете?

— Как же не знать!

— Позвольте спросить, вы тоже сосланы были?

— Да, имел несчастье пострадать, а вы?

— Мы все сосланные 14-го декабря. Странно, что мы вас не знаем, ежели вы тоже за 14-е. Позвольте узнать вашу фамилию?

— Федоров.

— Тоже за 14-е?

— Нет, я за 18-е.

— Как за 18-е?

— За 18-е сентября, за золотые часы. Был оклеветан, будто украл, и пострадал невинно.

Все покатались со смеха, исключая рассказчика, который, с пресерьезным лицом, оглядывая влоск положенных слушателей, божился, что это была истинная история.

Скоро после рассказа один из золотых молодых людей встал и поехал в клуб. Пройдясь по залам, уставленным столами с старичками, играющими в ералаш, повернувшись в инфернальной, где уж знаменитый «Пучин» начал свою партию против «компании», постояв несколько времени у одного из бильярдных, около которого, хватаясь за борт, семенил важный старичок и еле-еле попадал в своего шара, и заглянув в библиотеку, где какой-то генерал степенно читал через очки, далеко держа от себя газету, и записанный юноша, стараясь не шуметь, пересматривал подряд все журналы, золотой молодой человек подсел на диван в бильярдной к играющим в табельку, таким же, как он, позолоченным молодым людям. Был обеденный день, и было много господ, всегда посещающих клуб. В числе их был Иван Павлович Пахтин. Это был мужчина лет 40, среднего роста, белый, полный, с широкими плечами и тазом, с голдой головой и глянцевоитым, счастливым выбритым лицом. Он не играл в табельку, но так подсел к князю Д., с которым он был на ты, и не отказался от стакана шампан-

ского, которое ему предложили. Он так хорошо поместился после обеда, незаметно распустив сзади гюльфик, что, казалось бы, век просидел так, покуривая сигару, запивая шампанское и чувствуя близкое присутствие князей и графов, министерских детей. Известие о приезде Лабазовых нарушило его спокойствие.

— Куда ты, Пахтин? — сказал министерский сын, заметив между игрой, что Пахтин привстал, одернул жилет и большим глотком допил шампанское.

— Северников просил, — сказал Пахтин, чувствуя какое-то беспокойство в ногах, — что же, поедешь?..

«Анастасья, Анастасья, отворяй-ка, ворота». Это была известная в ходу цыганская песня.

— Может быть. А ты?

— Куда мне, женатому старику.

— Ну!..

Пахтин, улыбаясь, пошел в стеклянную залу к Северникову. Он любил, чтоб последнее слово, им сказанное, было шуточка. И теперь так вышло.

— Что, как здоровье графини? — спросил он, подходя к Северникову, который вовсе не звал его, но которому, по некоторым соображениям Пахтина, нужнее всех было знать о приезде Лабазовых. Северников был немножко замешан в 14-м числе и приятель со всеми Декабристами. Здоровье графини было гораздо лучше, и Пахтин был очень рад этому.

— А вы не знаете, Лабазов приехал нынче, у Шевалье остановился.

— Что вы говорите! Ведь мы старые приятели. Как я рад! Как я рад! Постарел, я думаю, бедняга? Его жена писала моей жене...

Но Северников не досказал, что она писала, потому что его партнеры, разыгравшие бескозырную, сделали что-то не так. Говоря с Иваном Павловичем, он все косился на них, но теперь вдруг бросился всем туловищем на стол и, стуча по нем руками, доказал, что надо было играть с семерки. Иван Павлович встал и, подойдя к другому столу, сообщил между разговором другому почтенному человеку свою новость, опять встал и у третьего стола сделал то же. Почтенные люди все были очень, очень рады возвращению Лабазова, так что, опять вернувшись в бильярдную, Иван Павлович, сначала сомневавшийся, нужно или нет радоваться возвращению Лабазова, уже более не употреблял введения о бале, статье «Вестника», здоровье и погоде, а прямо приступал ко всем с восторженным объявлением о благополучном возвращении знаменитого Декабриста.

Старичок, все еще тщетно пытавшийся ткнуть кием в своего белого шара, должен был, по мнению Пахтина, быть очень обрадован известием. Он подошел к нему. «Хорошо поигрываете, Ваше Высокопревосходительство?» сказал он в то время, как старичок сунул свой кий в красный жилет маркера, означая этим желанье помелить.

«Ваше Высокопревосходительство» было сказано совсем не так, как вы думаете, из подобострастия (нет, это не мода в 56-м году) — Иван Павлыч называл просто по имени и отчеству этого старичка, — а это было сказано частью [как] шутка над теми, кто так говорят, частью, чтоб дать знать, что мы знаем с кем говорим, и все-таки резвимся, немножко и взаправду; вообще это было очень тонко.

— Сейчас узнал: Петр Лабазов приехал. Прямо из Сибири приехал со всем семейством. — Эти слова произнес Пахтин, в то самое время, как старичок опять промахнулся в своего шара, — такое ему несчастье было.

— Ежели он приехал таким же взбалмошным, каким поехал, так нечему радоваться, — угрюмо сказал старичок, раздраженный своей непонятной неудачей.

Этот отзыв смутил Иван Павлыча, он опять не знал, следовало ли или нет радоваться приезду Лабазова, и, чтобы окончательно разрешить свои сомнения, он направил шаги свои в комнату, где собирались умные люди разговаривать и знали значе-

ные и цену всякой вещи, и все знали одним словом. Иван Павлыч был в тех же приятных отношениях с посетителями умной комнаты, как и с золоченой молодежью и сановитыми особами. Правда, у него не было своего особого места в умной комнате, но никто не удивился, когда он вошел и сел на диван. Речь шла о том, в каком году и по какому случаю произошла ссора между двумя русскими журналистами. Выждав минуту молчанья, Иван Павлыч сообщил свою новость не так, как радость, не так, как незначущее событие, а так, как будто к разговору. Но тотчас по тому, как «умные» (я употребляю «умные» как [прозвание] посетителей умной комнаты) приняли его новость и стали обсуживать ее, тотчас Иван Павлыч понял, что сюда-то именно и следовала эта новость и здесь только она получит такую обработку, что можно будет везти ее дальше и *savoir à quoi s'en tenir*.³

— Только Лабазова недоставало,— сказал один из «умных»,— теперь из живых Декабристов все вернулись в Россию.

— Он был «один из стаи славных»...— сказал Пахтин еще выпытывающим тоном, готовый на то, чтобы эту цитату сделать шуточной и серьезной.

— Как же, Лабазов — один из замечательнейших людей того времени,— начал «умный».— В 1819 году он был прапорщиком Семеновского полка и был послан за границу с депешами к герцогу З. Потом он вернулся и в 24-м году был принят в первую масонскую ложу. Все тогдашние масоны собирались у Д. и у него. Ведь он очень богат был. Князь Ж., Федор Д., Иван П.— это были его ближайшие друзья. И тут дядя его, князь Висарион, чтоб удалить молодого человека от этого общества, перевез его в Москву.

— Извините, Николай Степанович,— перебил другой «умный»,— мне кажется, что это было в 23-м году, потому что Висарион Лабазов назначен был командиром 3-го корпуса в 24-м году и был в Варшаве. Он приглашал его к себе в адъютанты и после отказа уж перевел его. Впрочем, извините, я вас перебил.

— Ах, нет, сделайте одолжение.

— Нет, пожалуйста.

— Нет, сделайте одолжение, вы должны это знать лучше меня, и притом память ваша и знания достаточно доказаны здесь.

— В Москве он против желанья дяди вышел в отставку,— продолжал тот, чья память и знания были доказаны,— и там вокруг него образовалось второе общество, которого он был родоначальником и сердцем, ежели можно так выразиться. Он был богат, хорош собой, умен, образован; любезен, говорят, был удивительно. Мне еще тетка говаривала, что она не знавала человека обворожительнее его. И тут-то он за несколько месяцев до бунта женился на Кринской.

— Дочь Николая Кринского, тот, что при Бородино...— ну, известный,— перебил кто-то.

— Ну, да. Ее-то огромное состояние у него осталось теперь, а его собственное, родовое, перешло меньшому брату князю Ивану, который теперь обер-гоф-кафмейстер (он назвал что-то в этом роде) и был министром.

— Лучше всего его поступок с братом,— продолжал рассказчик.— Когда его взяли, то одно, что он успел уничтожить, это — письма и бумаги брата.

— Разве брат был замешан?

Рассказчик не отвечал: «да», но сжал губы и мигнул значительно.

— Потом на всех допросах Петр Лабазов постоянно отпирался во всем, что касалось брата, и за это пострадал больше других. Но что лучше всего, что князь Иван получил все имение и ни одного гроша не послал брату.

— Говорили, что Петр Лабазов сам отказался? — заметил один из слушателей.

— Да, но отказался только потому, что князь Иван перед коронацией писал ему и извинялся, что ежели бы не он взял, то имение конфисковали бы, а что у него дети и

долги, и что теперь он не в состоянии возратить ничего. Петр Лабазов отвечал двумя строчками: «Ни я, ни наследники мои не имеем и не хотим иметь никаких прав на законом вам присвоенное имение». И больше ничего. Каково? И князь Иван проглотил и с восторгом запер этот документ с вексельями в шкатулку и никому не показывал.

Одна из особенностей умной комнаты состояла в том, что посетители ее знали, когда хотели знать, все, что делалось на свете, как бы тайно оно ни происходило.

— Впрочем, это вопрос, — сказал новый собеседник, — справедливо ли было отнять от детей князя Ивана состояние, при котором они выросли и были воспитаны и на которое полагали, что имели право.

Разговор таким образом был перенесен в отвлеченную сферу, не интересовавшую Пахтина. Он почувствовал необходимость свежим людям сообщить новость, встал и медленно, заговаривая направо и налево, пошел по залам. Один из его сослуживцев остановил его, чтобы сообщить новость о приезде Лабазовых.

— Кто же этого не знает! — отвечал Иван Павлыч, спокойно улыбаясь, и направился к выходу. Новость уже совершила свой круг и опять возвращалась к нему.

В клубе было больше нечего делать, он отправился на вечер. Это был не званный вечер, а салон, в котором принимали каждый день. Было человек 8 дам и один старый полковник, и всем было ужасно скучно. Уже одна твердая походка и улыбающееся лицо Пахтина развеселило дам и девиц. Новость же была тем более кстати, что в салоне была старая графиня Фукс с дочерью. Когда Пахтин рассказал почти слово в слово все, что он слышал в умной комнате, М-ме Фукс, покачивая головой и удивляясь своей старости, стала вспоминать, как она выезжала вместе с Наташей Кринской, теперешней Лабазовой.

— Ее замужество — очень романтическая история, и все это было на моих глазах. Наташа была почти обручена с Мятлиным, который после был убит на дуэли с Дебра. Только в это время приезжает в Москву князь Петр, влюбляется в нее и делает предложение. Только отец, которому очень хотелось Мятлина — и вообще Лабазова боялись как масона — отец отказал. Только молодой человек продолжает ее видеть на балах, везде, сдружается с Мятлиным, просит его отказаться. Мятлин соглашается, он ее уговаривает бежать. Она тоже соглашается, но последнее раскаянье (разговор происходил по-французски) — она идет к отцу и говорит, что все готово к бегству, и что она могла его оставить, но надеется на его великодушие. И в самом деле, отец простил ее — все за нее просили — и дал согласие. Вот так и сделалась эта свадьба, и веселая была свадьба! Кто из нас думал, что через год она поедет за ним в Сибирь. Она, единственная дочь, самая богатая, самая красивая тогдашнего времени. Император Александр всегда замечал ее на балах, сколько раз танцевал с ней. У графа Г. был *bal costumé*,⁴ как теперь помню, и она была Неаполитанкой, удивительно хороша! Он всегда, приезжая в Москву, спрашивал: «*que fait la belle Napolitaine?*»⁵ И вдруг эта женщина в таком положении (она дорогой родила) ни минуты не задумалась, ничего не приготовила, не собрала вещи и как была, когда его взяли, так и поехала за ним за 5000 верст.

— О! Удивительная женщина! — сказала хозяйка.

— И он и она — это редкие люди были, — сказала еще другая дама. — Мне говорили — не знаю, правда ли, — что в Сибири везде, где они работали в рудниках или как это называется, так эти колодники, которые с ними были, исправлялись от них.

— Да она никогда не работала в рудниках, — поправил Пахтин.

Что значил 56 год! Три года тому назад никто не думал о Лабазовых и ежели вспоминали о них, то с тем безотчетным чувством страха, с которым говорят о новоумерших; теперь же как живо вспоминались все прежние отношения, все прекрасные качества, и каждая из дам уже придумывала план, как бы получить монополию Лабазовых и ими угаживать других гостей.

— Сын и дочь приехали с ними,— сказал Пахтин.

— Ежели только они так же хороши, как была мать — сказала графиня Фукс.— Впрочем, и отец был очень, очень хорош.

— Как они могли воспитать там своих детей? — сказала хозяйка дома.

— Говорят, прекрасно. Говорят, молодой человек так хорош, любезен, образован, как будто вырос в Париже.

— Я предсказываю большой успех молодой особе,— сказала одна некрасивая девица.— Все эти сибирские дамы имеют что-то очень приятно-тривьяльное, но которое очень нравится.

— Да, да,— сказала другая девица.

— Вот еще богатая невеста прибавилась,— сказала третья девица.

Старый полковник немецкого происхождения, три года тому назад приехавший в Москву, чтобы жениться на богатой, решил, что как можно скорее, пока молодежь еще не знает, представиться и сделать предложенье. Девицы и дамы почти то же самое думали насчет сибирского молодого человека. «Должно быть, это-то и есть мой суженый,— подумала девица, тщетно выезжающая уже восьмой год.— Должно быть, к лучшему было, что этот глупый кавалергард так и не сделал мне предложенья. Я бы, верно, была несчастлива». — «Ну, опять пожелтеют все от злости, когда еще этот в меня влюбится», подумала молодая и красивая дама.

Говорят о провинциализме маленьких городов,— нет хуже провинциализма высшего общества. Там нет новых лиц, но общество готово принять всякие новые лица, ежели бы они явились; здесь же редко, редко, как теперь Лабазовы, признаны принадлежащими к кругу и приняты, и сенсация, производимая этими новыми лицами, сильнее, чем в уездном городе.

ГЛАВА III.

— Москва-то, Москва-то, матушка белокаменная,— сказал Петр Иванович, протирая утром глаза и прислушиваясь к звону колоколов, стоящему над Газетным переулком.

Ничто так живо не воскрешает прошедшего, как звуки; и эти колокольные московские звуки, соединенные с видом белой стены из окна и стуком колес, так живо напомнили ему не только ту Москву, которую он знал 35 лет тому назад, но и ту Москву с Кремлем, теремами, Иванами и т. д., которую он носил в своем сердце, что он почувствовал детскую радость того, что он Русский, и что он в Москве.

Явился бухарский халат, распахнутый на широкой груди в ситцевой рубашке, трубка с янтарем, лакей с тихими приемами, чай, запах табаку, громкий, порывистый мужской голос послышался в комнатах Шевалье, утренние поцелуи раздались, и голоса дочери и сына, и Декабрист был так же дома, как в Иркутске и как бы он был в Нью-Йорке и Париже. Как бы мне ни хотелось представить моим читателям декабрьского героя выше всех слабостей, ради истины должен признаться, что Петр Иванович особенно тщательно брился, чесался и смотрелся в зеркало. Платьем, которое было сшито не слишком хорошо в Сибири, он был недоволен и раза два то расстегнул, то застегнул сюртучок. Наталья же Николаевна вошла в гостиную, шумя черным муаровым платьем с такими рукавичками и лентами на чепце, что хотя все это было не по самой последней моде, но так придумано, что не только не было ridicule,⁶ но, напротив, distingué.⁷ На это у дам есть особенное, шестое чувство и проницательность, ни с чем не сравнимая. Соня тоже была так пристроена, что хотя все было на два года сзади моды, но ни в чем упрекнуть нельзя было. На матери темно и просто, на дочери светло и весело. Сережа только проснулся, и они одни поехали к обедне. Отец с матерью сели сзади, дочь села напротив, Василий сел на козлы, и извозчицья карета

повезла их в Кремль. Когда они вышли, дамы оправили платье, и Петр Иванович взял под руку свою Наталью Николаевну и, закинув голову назад, пошел к дверям церкви. Многие и купцы, и офицеры, и всякий народ не могли узнать, что это за люди. Кто это — давно, давно загорелый и не отошедший старичок с крупными, прямыми рабочими морщинами, особенного склада, такого склада, какого не бывают морщины, приобретенные в аглицком клубе, с белыми, как снег, волосами и бородой, с добрым и гордым взглядом и энергическими движениями? Кто эта высокая дама с значительной поступью и усталыми, померкшими, большими и прекрасными глазами? Кто эта девушка, свежая, стройная, сильная, а не модная, и не робкая? Купцы — не купцы, немцы — не немцы, господа? — тоже таких не бывает, а важные люди. Так думали те, которые видели их в церкви, и почему-то скорее и охотнее давали им дорогу и место, чем мужчинам в густых эполетах. Петр Иванович держал себя так же величаво, как и при входе, и молился спокойно, сдержанно, не забываясь. Наталья Николаевна плавно становилась на колена, вынимала платок и много плакала во время «иже херувимской». Соня как будто делала над собой усилие, чтобы молиться. Не шло к ней моление, но она не оглядывалась и крестилась прилежно.

Сережа остался дома — частью оттого, что проспал, частью оттого, что он не любил стоять обедни: у него ноги отекали, и он никак не мог понять, отчего пройти на лыжах верст 40 ему ничего не стоило, а простоять 12 Евангелий было для него величайшее физическое мученье, главное же оттого, что он чувствовал, ему нужнее всего было новое платье. Он оделся и пошел на Кузнецкий мост. Денег у него было довольно. Отец сделал себе правилом с тех пор, как сыну минуло 21 год, давать ему денег, сколько захочет. От него зависело оставить отца и мать совершенно без денег.

Как мне жалко этих 250 руб. с. денег, даром истраченных в магазине готового платья Купца! Каждый из этих господ, встречавших Сережу, охотно бы научил его и за счастье бы почел с ним вместе пойти заказать ему; но, как всегда бывает, он был одинок посреди толпы и, пробираясь в фуражке по Кузнецкому мосту, не поглядывая на магазины, он дошел до конца, отворил двери и вышел оттуда в коричневом полуфраке, в узком (а носили широкий), в черных панталонах, широких (а носили узкие), и в атласном с цветочками жилете, который ни один из господ, бывших у Шевалье в особой, не позволили бы надеть своему лакею. И еще много чего купил Сережа; зато Кунц в недоумение пришел от тонкой талии молодого человека и, как он это говорил всем, объяснил, что подобной он никогда не видел. Сережа знал, что у него талия хороша, но похвала постороннего человека, как Кунца, очень польстила ему. Он вышел без 250 р., но одет очень дурно, так дурно, что платье его через два дня перешло во владение Василья и навсегда осталось неприятным воспоминанием для Сережи. Дома он сошел вниз и сел в большой комнате, тоже посматривая в заветную, и спросил себе завтракать таких странных кушаний, что слуга даже посмеялся на кухне. Но все-таки он спросил журнал и сделал, как будто читает его. Когда же слуга, обнадеженный неопытностью юноши, начал было спрашивать и его, то Сережа сказал: ступай на свое место! и покраснел. Но сказал так гордо, что тот послушался. Мать, отец и дочь, возвратившись домой, нашли тоже его платье отличным.

Помните ли вы это радостное чувство детства, когда в ваши именины вас принарядили, повезли к обедне, и вы, возвратившись с праздником на платье, на лице и в душе, нашли дома гостей и игрушки? Вы знаете, что нынче нет классов, что большие даже празднуют, что нынче для целого дома день исключения и удовольствий; вы знаете, что вы одни причиной этого торжества и что, что бы вы ни сделали, вам простят, и вам странно, что люди на улицах не празднуют так же, как ваши домашние, и звуки слышнее, и цвета ярче,— одним словом, именинное чувство. Такого рода чувство испытал Петр Иванович, возвратившись из церкви.

Вчерашние хлопоты Пахтина не пропали даром: вместо игрушек Петр Иванович нашел дома уже несколько визитных карточек значительных Москвичей, считавших в 56-м году своей неперменной обязанностью оказать всевозможное внимание знаменитому изгнаннику, которого они не хотели бы видеть ни за что на свете 3 года тому назад. В глазах Шевалье, швейцара и людей гостиницы появление карет, спрашивающих Петра Ивановича, в одно утро удесятарило их уважение и услужливость. Все это были именные подарки для Петра Ивановича. Как ни испытан жизнью, как ни умен человек, выражение уважения от людей, уважаемых большим числом людей — всегда приятны. Петру Ивановичу было весело на душе, когда Шевалье, изгибаясь, предлагал переменить отделение и просил приказывать все, что будет угодно, и уверял, что он за счастье почитает посещение Петра Ивановича, и когда он, пересматривая карточки и опять бросая их в вазу, называл имена графа С., князя Д. и т. д., Наталья Николаевна сказала, что она никого не принимает и сейчас поедет к Марье Ивановне, на что Петр Иванович согласился, хотя ему хотелось бы поговорить со многими из приезжающих. Только один из визитов успел проскочить до запрета. Это был Пахтин. Ежели бы спросить этого человека, для чего он с Пречистенки приехал в Газетный переулок, то он никакого бы не мог дать предлога, исключая того, что он любит все новое и занимательное и потому приехал посмотреть на Петра Ивановича как на редкость. Казалось бы, надо заробеть, с таким единственным резонном приезжая к незнакомому человеку. Оказалось напротив. Петр Иванович и его сын и Софья Петровна смутились. Наталья Николаевна была слишком *grande dame*,⁸ чтоб от чего бы то ни было смущаться. Утомленный взгляд ее прекрасных черных глаз спокойно спустился на Пахтина. Пахтин же был свеж, самодоволен и весело любезен, как всегда. Он был друг Марьи Ивановны.

— А! — сказала Наталья Николаевна.

— Не друг, — лета наши... но она всегда была добра ко мне. — Пахтин был давнишний поклонник Петра Ивановича, он знал его товарищей. Он надеялся, что может быть полезен приезжим. Он вчера бы еще явился, но не успел, и просит извинить его. И он сел и говорил долго.

— Да, скажу вам, много я нашел перемен в России с тех пор, — сказал Петр Иванович, отвечая на вопрос.

Как только Петр Иванович стал говорить, надо было видеть, с каким почтительным вниманием Пахтин получал каждое слово, вылетающее из уст значительного старца, и как за каждой фразой, иногда словом, Пахтин кивком, улыбкой или движением глаз давал чувствовать, что он получил и принял достопамятную для него фразу или слово. Усталый взгляд одобрил этот маневр. Сергей Петрович, казалось, боялся, что речь батюшки не будет значительна, соответственно вниманию слушателя. Софья Петровна, напротив, улыбнулась той незаметной самодовольной улыбкой, которой улыбаются люди, подметившие смешную сторону человека. Ей показалось, что от этого нечего ждать, что это «шюшка», — так они с братом называли известный сорт людей. Петр Иванович объяснил, что он в своем путешествии заметил огромные перемены, которые радовали его. Нет сравнения, как народ — крестьянин — стал выше, стало больше сознания достоинства в них, — говорил он, как бы протверживая старые фразы. — «А я должен сказать, что народ более всего меня занимает и занимал. Я того мнения, что сила России не в нас, а в народе», и т. д. Петр Иванович развил с свойственным ему жаром свои более или менее оригинальные мысли насчет многих важных предметов. Нам придется еще слышать их в более полном виде. Пахтин таял от наслаждения и был совершенно согласен со всем.

— Вам непременно надо познакомиться с Аксатовыми, вы позволите мне их представить вам, князь? Вы знаете, ему разрешили теперь его издание? Говорят, завтра выйдет первый номер. Я читал также его удивительную статью о последователь-

ности теории науки в абстрактности. Чрезвычайно интересно. Еще там статья — история Сербии в XI веке и этого знаменитого воеводы Карбавонца, тоже очень интересно. Вообще огромный шаг.

— А! так,— сказал Петр Иванович. Но его, видимо, не занимали все эти известия, он даже не знал имен и заслуг тех людей, которых, как всем известных, называл Пахтин. Наталья Николаевна же, не отрицая необходимости знания всех этих людей и условий, в оправданье мужа заметила, что Риегге поздно очень получал журналы. Но он слишком много читает.

— Папа, мы поедим к тете? — сказала Соня, входя.

— Поедим, но надо позавтракать. Не хотите ли чего-нибудь?

Пахтин, разумеется, отказался, но Петр Иванович с свойственным вообще русскому и особенно ему гостеприимством настоял на том, чтобы Пахтин поел и выпил. Сам же он выпил рюмку водки и стакан бордо. Пахтин заметил, что, когда он наливал вино, Наталья Николаевна отвернулась нечаянно от стакана, а сын посмотрел особенно на руки отца. После вина Петр Иванович на вопросы Пахтина о том, какое его мнение о новой литературе, о новом направлении, о войне, о мире (Пахтин умел самые разнородные предметы соединить в один бестолковый, но гладкий разговор) — на эти вопросы Петр Иванович сразу ответил одною, общею profession de foi,⁹ и вино ли, или предмет разговора, но он так разгорячился, что слезы выступили у него на глазах, и что Пахтин пришел в восторг и тоже прослезился и, не стесняясь, выразил свое убеждение, что Петр Иванович теперь впереди всех передовых людей и должен стать главой всех партий. Глаза Петра Ивановича разгорелись, он верил тому, что ему говорил Пахтин, и он долго бы еще говорил, ежели бы Софья Петровна не поинтриговала у Натальи Николаевны, чтобы она надела мантилью и не пришла бы сама поднять Петра Ивановича. Он налил было себе остальное вино, но Софья Петровна выпила его.

— Что ж ты это?

— Я не пила еще, papa, pardon.¹⁰

Он улыбнулся.

— Ну, поедим к Марье Ивановне. Вы нас извините, m-g Пахтин...— и Петр Иванович вышел, неся высоко голову. В сенях встретился еще генерал, приехавший с визитом к старому знакомому. Они 35 лет не видались. Генерал был уже без зуб и плешивый.

— А ты как еще свеж,— сказал он.— Видно, Сибирь лучше Петербурга. Это твои? Представь меня. Какой молодец сын-то! Так завтра обедать?

— Да, да, непременно.

На крыльце встретился знаменитый Чихаев, тоже старый знакомый.

— Что ж ты это?

— Я не пила еще, papa, pardon.¹⁰

Он улыбнулся.

— Ну, поедим к Марье Ивановне. Вы нас извините, m-g Пахтин...— и Петр Иванович вышел, неся высоко голову. В сенях встретился еще генерал, приехавший с визитом к старому знакомому. Они 35 лет не видались. Генерал был уже без зуб и плешивый.

— А ты как еще свеж,— сказал он.— Видно, Сибирь лучше Петербурга. Это твои? Представь меня. Какой молодец сын-то! Так завтра обедать?

— Да, да, непременно.

На крыльце встретился знаменитый Чихаев, тоже старый знакомый.

— Как же вы узнали, что я приехал?

— Стыдно бы было Москве, ежели бы она не знала; стыдно, что у заставы вас не

встретили. Где вы обедаете? должно быть, у сестры Марьи Ивановны... Ну и прекрасно, я тоже приеду.—

Петр Иванович всегда имел вид человека гордого для тех, кто не мог разобрать сквозь эту внешность выражение несказанной доброты и впечатлительности. Теперь же даже Наталья Николаевна любовалась его непривычной величавостью, и Софья Петровна улыбалась глазами, поглядывая на него. Они приехали к Марье Ивановне. Марья Ивановна была крестная мать Петра Ивановича и старше его 10-ю годами. Она была старая дева.

Историю ее, почему она не вышла замуж, и как она жила свою молодость, я расскажу когда-нибудь после.

Она жила в Москве 40 лет безвыездно. Не было в ней ни большого ума, ни большого богатства, и связями она не дорожила, напротив; и не было человека, который бы не уважал ее. Она была так уверена, что все должны уважать ее, что все ее уважали. Бывали из университета молодые либералы, которые не признавали за ней власти, но эти господа фрондировали только в ее отсутствие. Стоило ей войти в гостиную своей царской поступью, заговорить своей спокойной речью, улыбнуться своей ласковой улыбкой, и они были покорены. Общество ее было — все. Она смотрела на Москву и обращалась с ней, как с своими домашними. Бывали у ней друзья больше из молодежи и мужчин умных; женщин она не любила. Были у ней тоже и приживалки и приживальщики, которых вместе с венгеркой и генералами в одно общее презрение почему-то вместе включила наша литература; но Марья Ивановна считала, что проигравшемуся Скопину и прогнанной мужем Бешевой лучше жить у нее, чем в нищете, и держала их. Но два сильные чувства в теперешней жизни Марьи Ивановны — были ее два брата. Петр Иванович был ее идолом. Князь Иван был ее ненависть. Она не знала, что Петр Иванович приехал, была у обедни и теперь только отпила кофе. Московский викарий, Бешева и Скопин сидели около стола. Марья Ивановна рассказывала им про молодого графа В., сына П. З., который вернулся из Севастополя и в которого она была влюблена. (У ней беспрерывно бывали пассии.) Нынче он должен был обедать у нее. Викарий встал и раскланялся. Марья Ивановна не удерживала его, она была вольнодумка в этом отношении; она была набожна, но не любила монахов, смеялась над барынями, бегущими за монахами, и говорила смело, что, по ее мнению, монахи такие же люди, как мы грешные, и что можно спастись в миру лучше, чем в монастыре.

— Не велите никого принимать, мой друг,— сказала она,— я Пьеру напишу; не понимаю, что он не едет. Верно, Наталья Николаевна больна.

Марья Ивановна была того убеждения, что Наталья Николаевна не любила и была врагом ее. Она не могла простить ей того, что не она, сестра, отдала ему свое имение и поехала с ним в Сибирь, а Наталья Николаевна, и что брат решительно отказал ей в этом, когда она собиралась ехать. После 35 лет она начинала верить иногда брату, что Наталья Николаевна лучшая жена в мире и его ангел-хранитель была; но она завидовала, и ей все казалось, что она дурная женщина.

Она встала, прошлась по зале и хотела идти в кабинет, как дверь отворилась, и сморщенное, седенькое лицо Бешевой, выражавшее радостный ужас, выставилось в двери.

— Марья Ивановна, приготовьтесь,— сказала она.

— Письмо?

— Нет больше...

Но не успела она сказать, как в передней послышался громкий мужской голос:

— Да где она? Поди ты, Наташа.

— Он! — проговорила Марья Ивановна и большими, твердыми шагами пошла к брату. Она встретила их, как будто со вчерашнего дня с ними виделась.

— Когда ты приехал? Где остановились? В чем же вы, в карете? — вот какие вопросы делала Марья Ивановна, проходя с ними в гостиную и не слушая ответов и глядя большими глазами то на одного, то на другого. Бешева удивилась этому спокойствию, равнодушию даже, и не одобрила его. Они все улыбались; разговор замолк; Марья Ивановна молча, серьезно смотрела на брата.

— Как вы? — сказал Петр Иванович, взяв ее за руку и улыбаясь. Петр Иванович говорил «вы», а она говорила ему «ты». Марья Ивановна еще раз взглянула на седую бороду, на плешивую голову, на зубы, на морщины, на глаза, на загорелое лицо и все это узнала.

— Вот моя Соня.

Но она не оглянулась.

— Какой ты дур... — голос ее оборвался, она схватила своими белыми, большими руками плешивую голову, — какой ты дурак... она хотела сказать, — «что не приготовил меня», но плечи и грудь задрожали, старческое лицо покривилось, и она зарыдала, все прижимая к груди плешивую голову и повторяя: «какой ты ду... рак, что меня не приготовил». Петр Иванович не казался себе уже таким великим человеком, не казался так важен, как у крыльца Шевалье. Задом он сидел на кресле, но голова его была в руках сестры, нос прижимался к ее корсету, и в носу этом щекотало, волосы были спутаны, и слезы были в глазах. Но ему было хорошо. Когда прошел этот порыв радостных слез, Марья Ивановна поняла, поверила тому, что случилось, и стала оглядывать всех. Но еще несколько раз во время дня, как только она вспомнит, какой он был, какая она была тогда, и какие теперь, и все живо так встанет перед воображением, — тогдашние несчастья и тогдашние радости, и тогдашние любви — на нее находило, и она опять вставала и повторяла: «какой ты дурак, Петруша, дурак какой, что меня не приготовил! Зачем вы не ко мне прямо приехали? я бы вас поместила, — говорила Марья Ивановна. — По крайней мере, вы обедаете? Тебе не скучно будет у меня, Сергей: у меня обедает молодой Севастополец, молодец. А Николай Михайловича сына ты не знаешь? Он писатель, что-то хорошее там написал. Я не читала, но хвалят, и он милый мальчик, я и его позову. Чихаев хотел тоже приехать. Ну, этот болтун, я его не люблю. Он уже был у тебя? А Никиту видел? Ну, да это все вздор. Что ты намерен делать? Что вы, ваше здоровье, Натали? Куда этого молодца, эту красавицу?

Но разговор все не клеился.

Перед обедом Наталья Николаевна с детьми поехали к старой тетке, брат с сестрой остались вдвоем, и он стал рассказывать свои планы.

— Соня большая, ее надо вывозить, стало, мы будем жить в Москве, — сказала Марья Ивановна.

— Ни за что!

— Сереже надо служить.

— Ни за что.

— Все такой же сумасшедший. — Но она все так же любила сумасшедшего.

— Надо сидеть здесь, потом ехать в деревню и детям показать все.

— Мое правило не вмешиваться в семейные дела, — говорила Марья Ивановна, успокоившись от волнения, — и не давать советов. Молодому человеку надо служить, это я всегда думала и думаю. А теперь больше чем когда-нибудь. Ты не знаешь, что такое теперь, Петруша, эта молодежь. Я их всех знаю. Вон князя Дмитрия сын совсем пропал. Да и сами виноваты! Я ведь никого не боюсь: я старуха. А нехорошо... — И она начала говорить про правительство. Она была недовольна им за излишнюю свободу, которая давалась всему.

— Одно хорошее сделали, что вас выпустили. Это хорошо. — Петруша стал было защищать, но с Марьей Ивановной было не то, что с Пахтиным; ему было не сговорить. Она разгорячилась.

— Ну что защищать! Тебе ли защищать? Ты все такой же, я вижу, безумный.

Петр Иванович замолчал с улыбочкой, показывавшей, что он не сдастся, но что спорить с Марьей Ивановной он не хочет.

— Ты улыбаешься. Это мы знаем. Ты со мной спорить, с бабой не хочешь,— сказала она весело и ласково и так тонко, умно глядя на брата, как нельзя было ожидать от ее старческого, с крупными чертами лица.— Да не соспоришь, дружок. Ведь 7-й десяток доживаю. Тоже не душой прожила, кое-что видела и поняла. Книжек ваших не читала, да и читать не буду. В книжках вздор!

— Ну, как вам мои ребята нравятся? Сережа? — сказал Петр Иванович с той же улыбкой.

— Ну, ну! — грозясь на него, ответила сестра.— На детей-то не переводи, об этом поговорим. А я тебе вот что хотела сказать. Ты ведь безумный, так и остался, я по глазам вижу. Теперь тебя на руках носить станут. Такая мода. Вы теперь все в моде. Да, да, я по глазам вижу, что ты такой же безумный, как был,— прибавила она, отвечая на его улыбку.— Удаляйся ты, Христом Богом тебя прошу, от всех этих либералов нынешних. Бог их знает, что они там ворочаются. Только все это хорошо не кончится. А правительство наше теперь молчит, а потом придется показать коготки, попомни мое слово. Я боюсь, чтоб ты опять не замешался. Брось это; все пустяки. У тебя дети.

— Видно, вы меня не знаете теперь, Марья Ивановна,— сказал брат.

— Видно, вы меня не знаете теперь, Марья Ивановна,— сказал брат.

— Ну, хорошо, хорошо, уж там видно будет. Я ли тебя не знаю, или ты сам себя не знаешь. Только я сказала, что у меня на душе было; послушаешь меня — хорошо. Вот теперь и о Сереже поговорим. Какой он у тебя? — «Он мне не очень понравился», хотела было сказать она, но сказала только: — Он на мать похож, две капли воды. Вот Соня твоя так мне очень понравилась, очень... милое такое что-то, открытое. Милая. Где она, Сонюшка? Да, я и забыла.

— Да как вам сказать? Соня-то будет хорошая жена и хорошая мать, но Сережа мой умен, очень умен, этого никто не отнимет. Учился прекрасно, немножко ленив. К естественным наукам он большую охоту имел. Мы были счастливы, у нас был славный, славный учитель. Ему здесь хочется в университет,— послушать лекции естественных наук, химии...

Марья Ивановна почти не слушала, как только брат начал об естественных науках. Ей как будто вдруг грустно стало. В особенности, когда дело дошло до химии. Она глубоко вздохнула и отвечала прямо на тот ряд мыслей, которые вызвали в ней естественные науки...

— Кабы ты знал, как мне их жалко, Петруша,— сказала она с искренней и тихой, покорной печалью.— Так жалко, так жалко. Целая жизнь впереди. Чего еще они не натерпятся!

— Что же, надо надеяться, что они проживут счастливее нашего.

— Дай Бог, дай Бог! Да жить-то тяжело, Петруша! Ты меня послушай в одном, мой голубчик. Не мудри ты! Какой ты дурак, Петруша, ах, какой ты дурак! Однако мне надо распорядиться. Народу-то я назвала, а чем я их кормить буду?

Она всхлипнула, отвернулась и позвонила.

— Позвать Тараса.

— Все у вас старик? — спросил брат.

— Все он; да что же, ведь он мальчишка в сравнении со мной.

Тарас был гневен и чист, но взялся все делать.

Скоро, пышущие холодом и счастьем вошли, шумя платьями, Наталья Николаевна и Соня; Сережа остался за покупками.

— Дайте мне на нее посмотреть.

Марья Ивановна руками взяла ее за лицо. Наталья Николаевна рассказывала.